

Максим Горький

# Орел



## Annotation

«В конце главной улицы города, у выхода её в поле, к монастырскому кладбищу, – одноэтажный, в пять окон, дом, похожий на сарай. Он обшил тёсом и когда-то давно был выкрашен рыхлой краской, но её смывли многие дожди, выжгло солнце, в дряхлое дерево глубоко въелась долголетняя пыль и окрасила его в свой, пепельно-грязный цвет. Но кое-где на коже дома ещё остались ржавые пятна, похожие на кровоподтёки после ударов. Очень старый дом. Он уже запрокинулся во двор, и тусклые стёкла окон его как будто хотят взглянуть в даль неба, точно им надоело смотреть на железную решётку ворот кладбища и на кресты над могилами за решёткой...»

---

- [Максим Горький](#)
    -
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
-

# Максим Горький

## Орёл

В конце главной улицы города, у выхода её в поле, к монастырскому кладбищу, — одноэтажный, в пять окон, дом, похожий на сарай. Он обшил тёсом и когда-то давно был выкрашен рыжей краской, но её смывли многие дожди, выжгло солнце, в дряхлое дерево глубоко въелась долголетняя пыль и окрасила его в свой, пепельно-грязный цвет. Но кое-где на коже дома ещё остались ржавые пятна, похожие на кровоподтёки после ударов. Очень старый дом. Он уже запрокинулся во двор, и тусклые стёкла окон его как будто хотят взглянуть в даль неба, точно им надоело смотреть на железную решётку ворот кладбища и на кресты над могилами за решёткой.

Фасад дома украшают четыре проржавевших вывески. Одна извещает: «Сей дом вдовы титулярного советника Анны Репьевой», на другой сказано, что дом «Свободен от постоя», — хотя размещение солдат в жилищах обывателей давным-давно не практикуется, — третья говорит, что дом «Застрахован в обществе «Саламандра», а общество это — «прогорело» лет тридцать тому назад. Четвёртая вывеска — побольше, свежее, ядовито зелёная, на ней изображён чёрный двуглавый орёл, и его дугою окружают чёрные слова:

«Канцелярия земского начальника первого участка Мямлинского уезда».

Летом земский начальник живёт в селе Савелове, вёрст за десять от города, и приезжает «править суд» по пятницам, часов в десять утра. Крестьяне обычно собираются на судбище рано утром и в хорошую погоду сидят под окнами канцелярии, на истоптанной кирпичной панели, а в дождь — жмутся на дворе; двор — большой, пустой, зарос крапивой, лопухом; от соседнего двора его отделяет полуразрушенный сарай, посередине двора — колодезь и старая, корявая ветла. Из бурьяна торчат обгоревшие пеньки и куча кирпича — остаток печки. Иногда земского ждут час, и два, и пять.

Жарко. В городе пахнет, точно на чердаке, — гретой пылью и птичьим помётом. Тихо. Дети — в школах, женщины — в кухнях, в огородах, мужчины — на службе, на работе. Под окнами канцелярии, потея, вздыхая, почёсываясь, сидят и лежат серые, тёмные бородатые люди, иные дремлют, кое-кто — спит, всхрапывая, посвистывая. Медленно плетётся

разноголосый, негромкий говорок, но, слушая его издали, кажется, что это говорит всё время один и тот же человек.

- Не едет.
- Гляди – опять не будет.
- Наши дни для него – без цены.
- Дурят господа над нами.
- Этот ещё ничего!
- Н-да. Мягкой.
- Орёл.
- А вот в третьем участке брат его, Константин, ну и – собака!
- А ты бы не орал, – Гришка услышит, он тебе покажет.
- Эх, мать вашу крошу на лапшу!

На кладбище идёт козёл, важно покачивая головою.

- Исправник шагает... [\[1\]](#)

– Похоже.

На минуту голоса примолкли, и слышно, как на кладбище яростно поют зяблики. Потом снова шелестят голоса.

- Константин приказал перед лошадью его шапки снимать.
- Ври!
- Верно. Не снимешь – день ареста. Другой раз не снимешь – трое суток.
- С ума сходят.
- Бывает и это. Мусин-Пушкин судил-судил да вдруг начал в стадо стрелять. Гонят стадо с поля, а он приснастился у окошка и – давай садить! Ружьё у него – не одно, так он и дробью и пулями.
- Много скота перепортил?
- Голов пяток, что ли.
- Это – верно. История – известная.
- Связали его, привезли в город, а там и говорят: «Да он давно уж с ума-то спятил!»

- Вот – черти!
- Так сумасшедший и судил?
- Так и судил.
- Отменили приговора-то?
- Нет, нельзя! Закон, слышь, обратно не действует.

Кто-то уныло говорит:

- Сидим, как пленные турки, эхма...
- Надобно, так посидишь, – отвечают ему, и снова вполголоса, не торопясь, плетётся говорок:

– Лаяться мастер Костянтин.

– Умеет.

– Мужику против него не выругаться.

– Офицеры они все. У нашего брата в казармах учились.

– А приехал он, Костянтин, в село с женой, такая тоненькая, глазастенькая, щёки – жёлтые, как репа. И всего имущества привёз – чемодан, гитару да зелёную птицу попугая в клетке, и птица тоже матерно ругается.

– Ври, как на мёртвого!

– Верно. Птица – известная.

– Вскоре и лошадь привели, ну – ничего не скажешь – красавица!

– Это пред ней шапки снимать надо?

– Пред ней самой. Вся – белая, ноги – точёные, глаз – весёлый.

– Верно. Не идёт, а – пляшет!

Лошадь хвалят долго, подробно. Звонкий тенор подводит итог похвалам:

– Такую лошадь не жеребцу крыть, а – губернатору.

– Эй, Евдоким, гляди, нарвёшься!

– А потом и повезли-и! Столы, стулья, диваны, сундуки, дома на три...

– Чу, Гришка проснулся...

Мужики гуськом, один за другим, идут во двор, толпятся перед чёрным крыльцом, а из дома выходит заспанный и встрёпанный Гришка Яковлев, бывший волостной писарь, великий знаток всех законов жизни, знаменитый пьяница. Выход его всегда одинаков: крупно шагая длинными и тонкими ногами, покачивая сильно вздутым животом, без рубахи, в тиковых полосатых подштанниках, босой, с полотенцем на плече, он подходит к колодцу и, не глядя на людей, командует хрипло:

– Давай!

Кто-нибудь из мужиков вытаскивает бадью воды, Гришка сгибает узкогрудое, серокожее тело под прямым углом, всхрапывает:

– Лей!

Мужик обливает подземной, холодной водой лысоватую, тыквоподобную голову, спину с лопатками, как ладони. Журавлиные Гришкины ноги трясутся, шевелятся рёбра, как у загнанной лошади, он кашляет, ругается, хрипит, держась руками за сруб колодца.

– Три!

Мужик усердно растирает полотенцем Гришкину спину.

– Тиш-ше, чёрт!

И наконец, выпрямившись, всё такой же серокожий, Гришка говорит:

– Сегодня земский не приедет. У кого есть прошения – давай! Остальные – ползи домой!

Большинство мужиков и баб уныло и ворчливо уходят со двора, а некоторые идут за Гришкой в канцелярию, упрашивая его:

– Григорий Михалыч, бога ради – двинь дело! Который раз приходим. Сам понимаешь, косить пора! Мы же люди не свободные.

Законник, покашливая, шутит:

– Врёте: покуда не арестованы – значит, свободны.

Но шутку эту давно знают, и она никого не смешит. Черноволосый, курчавый, как цыган, Евдоким Костин, мастер по установке жерновов на мельницах, ставит дело просто и ясно; он говорит нахмурясь, оскалив плотные белые зубы:

– Григорий, ты меня не томи, морду побью! А взыщешь с Волокушина – трёшницу дам.

Гришка, стоя на верхней ступени крыльца, затяжно кашляет, ноги его трясутся, он схватился за кромку двери, чтоб не упасть, его длинное, серое, в рыжей бородке, лицо всухло, побурело, он бьёт себя кулаком в грудь и наконец, прокашлявшись, скрипит:

– Я – что? Взяточник?

– Ну, а – кто? – спокойно спрашивает Костин.

– Меня – купить можно?

– Все покупают.

– Слышали? – обращается Гришка к мужикам. – Это называется оскорбление словом при исполнении служебных обязанностей. Будьте свидетелями.

– Э, дурак, – махнув на него рукою, говорит Костин и идёт прочь, а за ним быстро следуют мужики, приглашённые в свидетели.

Поглаживая грудь, Гришка садится на верхнюю ступень крыльца и мотает мокрой головой, влажные, рыжие и уже полуседые волосы падают на серые щёки его. Глаза законника опухли, белки налиты кровью.

– С-волочь, – высвистывает он и снова кашляет.

Земский начальник приезжает на беговых дрожках или в красивом плетёном шарabanчике. «Тяглой силой» служит ему маленькая, необыкновенно бойкая лошадка, а правит ею бывший гусар Иконников, теперь – сельский стражник, человек угрюмый и странно скопой на слова. Он служит земскому в качестве денщика и кучера, сопровождает его на охоту, на рыбную ловлю. Он – большой, смуглолицый, лысый, глаза у него круглые, как пуговицы, и кажутся такими же плоскими. На нём рубаха

малинового цвета, заправленная за пояс чёрных, солдатских брюк, на широком ремне прицеплен револьвер в жёлтом кожаном чехле, на левом боку полицейская шашка, – рядом с ним земский, в сером пыльнике с капюшоном на голове, напоминает монаха, схимника.

Мужики, сняв шапки, стоят молча, плотно прижимаясь друг к другу, бабы прячутся сзади их, а впереди – нахмурясь, с лицом великомученика – Гришка Яковлев, в сером пиджаке до колен, в серых полосатых брюках, в стоптанных белых ботинках с чёрными пуговками.

Иконников снимает с земского пыльник, точно скорлупу с яйца, и пред народом – знакомая фигура творца справедливости, раздатчика «правды и милости», которые должны «царствовать в судах»<sup>[2]</sup>. Земскому начальнику за сорок лет, но он стройный, широкогрудый. Череп его украшен серебряной щетиной, сдобное, румяное лицо украшают пышные усы и большие ласковые глаза. На нём золотистая рубаха из чесуи<sup>[3]</sup>, кавалерийские рейтзузы, сапоги с лаковыми голенищами, за широким поясом с бляшками из чернённого серебра торчит забавный хлыстик, туга сплетённый из ремня, он кажется железным, рукоятка у него тоже серебряная.

Он вытирает запылённые щёки и широкий лоб белым платком, встряхивает серебряной головой и, расправляя пальцами обеих рук густые светловолосые усы, прищурясь – улыбается.

– Опять собралась целая рота, – говорит он ленивецким, но звучным барским голосом. – Ну, здравствуйте!

Крестьянство разноголосо бормочет приветствия, бабы очарованно смотрят на идольски красивого барина, и, может быть, некоторым из них вспоминаются девичьи сны, вспоминается песня о том, как «ехал барин с поля, две собачки впереди, два лакея позади», ехал и, встретив девушку-крестьянку, влюбился в неё, взял в жёны.

Земский явно уверен, что народ любуется его молодцеватостью, здоровьем, силой; он потягивается, расправляя мускулы, и, щурясь, смотрит в жаркое небо, как бы проверяя, достаточно ли ярко освещает его солнце. Он командует:

– Яковлев! Подай стол и стул сюда, в канцелярии – жарко и мухи. Ворота закрыть!

– Готово! – скрипит деревянным голосом Гришка и тоже командует:

– Раздайся!

Толпа тяжело шевелится и обнаруживает сзади себя в тени у крыльца – стул, стол, накрытый зелёной клеёнкой, графин с водой, чернильницу,

пачку бумаг.

— Прошений много? — спрашивает земский, садясь к столу, поглаживая усы.

— Тринадцать.

— Черти! — говорит земский, удивлённо пожимая плечами. — Чего вы всё собачитесь, чего судитесь? Когда же вы научитесь мирно жить, а? Эх вы... бестолочь! Дали вам свободу, а вы не умеете пользоваться ей, вот и приходится нам же, господам, учить вас... Воспитывать...

Из толпы выдвигается тощий старичок с голым черепом, с двумя шишками на нём, с клочковатой, грязного цвета, запутанной бородой, слишком тяжёлой для его узкого лица с невидимыми глазами, — выдвинулся и запел назойливо, как нищий:

— Ваше скородие, Митрий Сергеич, драгоценный наш защитничек, — бедность! Бедность заела! Людей-то много, а хлеба-то мал кусок! Кусочек-то маловат, барин милой! А люди-то — воры, воры все...

Из толпы громко спросили:

— А где живёт вор вороватее тебя?

— Цыц, — командует земский, хмуря золотистые брови. — Это — кто сказал?

— Евдоким Костин, — определяет Гришка.

— Правду сказал, ваше благородие, — подтверждает крупная, пожилая баба в пёстром платье городского покроя.

— Тишина! — строго приказывает земский, хлопнув ладонью по столу. — Я вас предупреждал и ещё раз предупреждаю: не смейте ругаться при мне! Слышали? Ну, вот...

И, откинувшись на спинку стула, подняв руку в воздух, покачивая ею, он внушает:

— Я — творю суд. Это важное дело. Суд воспитывает правосознание ваше. Понимаете? Должны понять. Я не первый раз говорю. Правосознание — это чтобы вы не обижали друг друга, не ругались, не дрались. Не воровали. Не рубили в казённых лесах воровским образом дерево. Не собирали грибов там, где запрещено. Вовремя платили налоги государству. И — земству. Не пропивали денег...

Говорил он не сердито, не торопясь и очень скучно. Говорил и смотрел, как Иконников шагает по двору, а за ним ходит, точно собака, гнедая лошадка, толкает его мордой в плечо, старается схватить губами за ухо.

— Не дури, — густо сказал Иконников и, вынув из кармана, должно быть, кусок сахара, вложил его в губы лошади.

— Вам сколько ни дай — всё мало! — продолжал земский, безнадёжно махнув рукой. — Знаю я вас! Сутяги вы, кляузники, ябедники. Зависть грызёт вас, вот что! Вот вы — судитесь. С кем? Всё — с богатыми. Будто бы они вас теснят, жить не дают. А работу они вам дают? Вот видите? Мне даёт работу государь, вам — богатый мужик.

Блуждающий взгляд земского остановился, брови нахмурились. Прислонясь спиной к срубу колодца, в тени ветлы сидит женщина, широко раскинув ноги: в подоле юбки её заснул полуголый, тощенький ребёнок, кривоногий, со вздутым животом, по животу ползали мухи. Баба тоже спит, склонив неудобно голову на плечо, удивлённо открыв рот.

— Что ей надо? — спросил земский, указывая на бабу пальцем. Гришка, стоя за его спиной, как ангел-хранитель, деревянно ответил:

— Пелагея Ямщикова. Муж имеет четыре года тюрьмы за убийство. У неё отобрали душевой надел.

— Да. Вот видите: убийство, — проворчал земский и вернулся к своей теме: — Вы должны признать: богатый мужик — это умный мужик. Он богат, потому что умён. Он — опора власти, опора царя, да! Богат — значит, богатырь, человек, награждённый богом особой силой ума, духа и тела. Вот как надобно думать.

В толпе стоит Василий Кириллович Волокушин, коренастый старик в суконной, выгоревшей и сильно заношенной поддёвке; он давно вырос из неё, и она не застёгивается на его животе, вздутом, как пузырь, и опущенном почти до колен. Жёлтое, как тыква, рыхлое лицо его поросло кустиками седоватых волос, на подбородке они соединены в реденькую, острую метёлку, на его сизоватом носу, изрытом оспой, — круглые очки в серебряной оправе, за стёклами очков тускло поблескивают сиреневые зрачки бараньих глаз. Лысый его череп покрыт, как тряпочкой, морщинистой и пятнистой кожей. Он владелец двух водяных мельниц и знаменит своей скучностью. Знаменит он и как сутяга: непрерывно судится у земских, у мирового судьи, в окружном суде. Он слушает речь земского, как молитву: благочестиво сложив руки на животе; верхняя губа его надувается, шевеля волосики усов, нижняя — отпадает, обнажая тёмные кольшшки редких зубов. Он громко сопит.

И все люди слушают медленную, натужную речь барина очень внимательно, почти не шевелясь. Сгущается знойная, тягостная скука, угашая неумелые мысли. Земский высыпал нос трубным звуком и, перелистывая бумаги, позвал:

— Бунаков и Дроздова!

Поклоняясь так низко, точно их ударили по затылку, у стола встали

старик с шишкой и толстогубая женщина в городском платье.

– Ну – как? – спросил судья. – Договорились? Согласны мириться?

– Не могу я, ваше воскородие, не могу, – басом заговорила женщина, и большое глазастое лицо её густо налилось кровью. – Изувечил он мне корову, старый дьявол, а ведь корова-то какая, господи! И сравнить её не с чем, из четырёх она у меня королевной ходила. А ведь на трёх ногах корова не живёт. Человек – так он и на одной ноге может, а её – только на мясо, куда кроме?

– Стой, стой! – сердито крикнул земский. – Всё это я слышал. Бунаков, ты должен возместить за корову!

– Ваше воскородие, премудрый судья, – запел старик, прикрыв глаза, раскачиваясь. – А кто мне за овёс возместит? Ведь её коровы сколько овса стравили! И это она пустила их в мой овёс нарочно... Она мне всё нарочно делает...

– Может, я и живу нарочно? – с угрюмой злостью спросила женщина.

– А кто тя знает? Очень ты на ведьму похожа, на оборотня.

– Ваше благородие, – глядите, что он говорит! А – брат мой, родной, брат по крови. Защитите от жулика...

– Молчать! – рявкнул земский, и румяное лицо его побледнело, голубые глаза холодно побелели. – Приказываю кончить эту вашу скотскую ерунду миром. Сегодня же, здесь!! Иначе я вам запишу по неделе ареста... Прочь! Дурачёй! Костин и Волокушин! – вызвал он.

Вслед за Волокушинным подошёл Евдоким Костин, маленький, сухой, большеглазый, в белом рваном пиджаке, в грязных штанах из парусины, подвёрнутых до колен, босой. Ему, вероятно, лет под тридцать; смуглый, суровый, в чёрной бородке, он очень похож на цыгана. Земский, играя хлыстом, посмотрел на него неласково, но в это время Гришка, наклоняясь к земскому, сказал:

– Вон, Митрий Сергеич, опять мужик на дворе мочится. Никакого слада с ними нет...

– Дай его сюда, сукина сына!

Гришка подвёл коренастого человечка с весёлым лицом в окладистой бородке. Земский, покраснев, спросил негромко:

– Ты где ж это мочишься?

– А вон там, – ответил мужик, показывая рукой.

– А ты понимаешь, что здесь происходит?

– Предположительно – судятся, – не сразу сказал мужик.

– Ага, понимаешь, значит! – сказал земский, снова бледнея. – Так вот: за то, что понимаешь, а всё-таки пакостишь, я тебя арестую на трое суток.

Мужик удивлённо взмахнул головой, оглянулся и быстро сунул руку в карман пестрядинаных штанов.

– Прочь! – рявкнул земский, хлопнув хлыстом по столу, и привстал на стуле, а мужичок, пугливо отскочив, протянул руку с конвертом в ней и тоже прокричал:

– Докладаю письмецо, от братца вашего Сергей Сергеича.

Земский вырвал конверт из его руки, разорвал, прочитал письмо и усмехнулся, спрашивая:

– Ты – первый раз здесь у меня?

– Первоначально, – виновато ответил мужик.

– Когда тебе брат дал письмо?

– Вчера, ополдень.

– Пешком шёл?

– Следственно.

Снова нахмурясь, обмахивая лицо письмом, земский несколько секунд смотрел на мужика молча, должно быть, заметив, что мужик не совсем обычный: золотистая бородка аккуратно подстрижена, волосы на голове лежат гладко, плотной рыжеватой шапочкой, кожа лица и шеи – чистая, как будто он только что мылся в бане. У него приятные синеватые глаза. На левой руке его висят серые, пыльные лохмотья, а на нём, поверх изношенной полотняной рубахи, сильно потёртый, необыкновенно пёстрый жилет, как будто из атласа, расшитого разноцветным шёлком.

– Что это значит – следственно? – строго спросил судья.

Мужик, переступив с ноги на ногу, торопливо заговорил:

– Как, значит, Сергей Сергеич сказали, так вслед за тем и пошёл я...

– Говорите вы, чёрт вас... Смысла слов не понимаете. Кто это научил тебя – следственно, первоначально?

Мужик виновато ответил:

– Артикехтер.

Земский мигнул, точно ему пыль в глаза попала, и захохотал, кругло открыв рот, раздувая смехом пышные свои усы. Густой, гулкий хохот его вызвал улыбки на тёмных, потных лицах народа. Бунаков даже взвизгнул, но тотчас прикрыл рот ладонью. Брюхо Волокушина колыхалось беззвучно, на рыхлых его щеках шевелились морщины. Только Иконников не обращал внимания на происходящее; стоя у колодца, он поил лошадь из бады и, черпая воду ладонью, поливал голову и грудь спящей женщины.

– Ох, черти, – сказал земский, устав хохотать, вытирая платком слёзы. – Артикехтор, – повторил он, усмехаясь, и, записав слово на письме брата, помахал письмом в красное лицо своё.

– Как же он тебя учил, артикехтор?

– Надо, дескать, кругло говорить, а не шершаво. Ты, говорит, не мужик, ты – мастеровой...

– Что за вздор! – говорит земский, милостиво усмехаясь. – Ну, ладно, арест я снимаю с тебя.

И обращается к народу:

– Вот видите, какой... исполнительный мужик. Дали ему приказание – иди! И он отшагал пятьдесят две версты... точно рюмку водки выпил! Раздва, левой, правой, – э! Молодец! Но всё-таки ты, братец, соображай, где что можно делать! Суд – это, знаешь, всё равно как, например... обедня, богослужение. Потому что суд защищает правду, а правда – от бога.

Он поднял руку в небо, блестели ногти его пальцев. Но сравнение суда с обедней, видимо, не удовлетворило его, он добавил построже:

– Суд – это как воинский парад пред богом. И – царём. – И обратился к народу:

– Если бы это сделал кто-нибудь из вас, которые бывали у меня, я бы такому болвану неделю ареста дал. Учить вас надо.

– Ох, надо! – подтвердил Волокушин, тяжко вздохнув, а земский снова заговорил с мужиком в жилете:

– Брат рекомендует тебя как хорошего столяра. Пойдёшь ко мне в Савелово, там тебе работа будет.

– Ваше благородие, – сказал столяр, – у меня струменты нет.

– Пропил?

– Заложил случайно. Дитя померло, ягодкой-земляникой объелось. Похороны, то да сё. Дополнительно – Сергей Сергеич меня с работы послал, я вот у него, у Василья Кириллыча, работаю...

– Ничего, Волокушин подождёт, – сказал земский. – Подождёшь, да? Волокушин поклонился.

– Как угодно, Дмитрий Сергеич...

– Ну, вот видишь, – сказал земский, хмурясь. – А где инструмент заложен?

– У Ивана Петровича, – охотно ответил столяр.

– И – врёшь, – быстро сказал Бунаков. – Есть у тебя инструмент.

– Чужой, Волокушкина. Да и не годен для тонкой работы.

– Молчи! – приказал земский, строго глядя на Бунакова. – Ты что же? Ростовществом занимаешься?

– Ваше воскородие, милостивец, – жалобно запел Бунаков. – Ежели Христом богом просят, так как же? По доброте души моей...

Привстав со стула, земский веско сказал:

– Немедленно возвратить инструменты столяру! Понял? Дроздова!

– Вот она я, батюшка, здесь, – успокоительно сказала женщина, но отодвинулась от стола подальше.

– Ты согласна продать корову?

– Да ведь куда же её, без ноги-то!

На всякий случай Дроздова, сделав плачевное лицо, отирает полой кофты сухие глаза.

– Так вот – Бунаков купит её. Яковлев, запиши решение!

– Ваше воскородие! – завыл старик. – Куды мне её? Теперь – лето, мясо – не едят. Прямой убыток.

– А если ты будешь визжать... – закричал земский, и Бунаков, согнувшись, пряча голову, втолкнулся в группу людей, точно козёл в стадо овечье.

Земский расправил плечи, молодецки выгнул грудь и спросил:

– Волокушин, почему не платишь за работу Костину?

– Тому причина – законная, ваше высокородие, – чётко заговорил мельник. – Он, Евдокимко, порядился жернова отбить: нижний – лог, дорогой, самолучший московский камень, и верхний – ходун, тоже самолучший, днепровский. Он, Евдокимко, славится как первый мастер этого дела, однако жернова мои сбил. И это сделано для озорства. Вот, спросите людей, каков он есть злой озорник.

– Ой, верно это, – подтвердила Дроздова.

– И за это я плату ему задержал, как нанесён мне крупный убыток...

– Довольно, – приказал земский. – А ты, Костин, что скажешь?

– Врёт он, скажу я, – высоким тенором ответил Костин. – Вы спросите его: пробовал он жернова?

– Не учить меня, дурак! – крикнул земский. – Я сам знаю, о чём надо спросить.

Закурив папирису, он решил:

– Волокушин! Требуется, чтоб сведущие люди осмотрели жернова и сказали: испорчены они или нет?

Усмехаясь, Евдоким Костин шагнул ближе к столу.

– Ваше благородие! Сказать что может только работа, а сведущие люди будут мельники, так они, конечно, скажут против меня. Я их, дьяволов, знаю.

– Ты – что? Учить меня хочешь? – спросил земский зловеще.

– Да нет! Куда мне! Только – жить надо мне, а без работы я – не жилец. Волокушин меня второй месяц за руки держит. Пускай бы хоть половину заработка отдал, чёрт с ним, боровом.

Выдувая дым из ноздрей, поблескивая глазами, земский так же зловеще, но потише заговорил:

– Я про тебя, Костин, кое-что слышал, – нехорошо говорят про тебя!

Но Костин не уступал, тенорок его поднимался всё выше.

– Мало ли что говорят! Мы все друг о друге нехорошо думаем, а говорим – того хуже. Вот про Волокушина говорят, что он жену до смерти забил, а уж ростовщик он посильнее Бунакова.

– Куда мне! – жалостно вставил Бунаков, а Дроздова добавила басом:

– От Василья Кириллыча вся волость плачет.

– Какой я ростовщик? – удивлённо спросил кого-то Бунаков, но из толпы прозвучал негромкий, однако вполне уверенный возглас:

– Оба вы ненасытные мироеды!

Земский молча написал что-то и позвал:

– Яковлев!

Гришка, согнувшись, глядя под ноги себе, сидел на ступени крыльца. Неуклюже, точно падая, он встал, наклонился к начальнику. Они пошептались, и начальник прочитал написанное:

– «Задержать Евдокима Костина при уездной полиции впредь до моего распоряжения». Вот. Полицейский у ворот есть? Иконников, посмотри. Так-то, Костин.

Костин повернулся спиной к земскому и сказал людям:

– Вот вам – суд! Видали?

– Эге-э, брат, – медленно протянул земский, встал, взмахнул хлыстом, но Костин уже быстро шагал к воротам. Его догнал Иконников и положил руку на плечо его.

Рука, должно быть, тяжёлая: Костин как бы споткнулся и, остановясь, спросил:

– Чего?

– Не торопись, – посоветовал Иконников. – Коню не способно.

Весёлый конёк резво прыгал рядом с ним. Земский смотрел на игру его и усмехался, обнажив белые, плотно составленные зубы. Потом он заговорил, обратясь к Волокушину:

– На тебя, почтеннейший, подано три жалобы. Особенно серьёзна жалоба учительницы Медведевой. Это даже не жалоба, а просьба – принять меры охраны её против тебя, сударь. Жаловаться она хочет прокуратуре.

Волокушин кашлянул, встряхнув животом, и заговорил, как бы читая написанное:

– Разрешите, ваше высокородие, заявить, – как я будучи попечитель школы, что она, Медведева, внушает ребятишкам несогласное с

вероучением святой церкви отца Семеона, известного вам.

— Картёжника, — добавил земский, весело подмигнув.

— Дескать, земля появилась сама собою из газа и огня и даже никому не принадлежит. Кроме того — у неё неизвестные мужчины noctуют, как замечено.

— А тебе, старику, того же хочется? — спросил земский, но тотчас, сморщив румяное лицо, сплюнул и продолжал уже строгим голосом:

— Всё-таки нельзя хватать женщину за волосы и бить её книгой по щекам. За это тебе придётся ответить. И — вообще, сударь мой...

Но в этот момент явился Иконников, держась за гриву коня, и, положив на стол какой-то пакет, сказал:

— Полицейского у ворот не было, сам отвёл. Письмо взял у верхового из Мурзина.

— Ага — не было? Отлично, — с явной радостью, вскрывая конверт, сказал земский. — То есть не отлично, а — свинство! Яковлев, почему полицейского не было?

Гришка, изогнувшись, сказал что-то невнятное, но земский махнул на него рукой, читая письмо. Лицо его сияло. Затем, сунув письмо в карман, он громко и торопливо начал командовать:

— Яковлев — кончаем! Разберись тут, сделай сводку по новым прошениям и пришли мне, как всегда. Невод предводителю дворянства послал? Так. Иконников — запрягай, едем в Мурзино.

Он встал, потянулся, разминая мускулы, красивый, обласканный горячим солнцем, влюблённо поглядел на свои плечи, руки.

— Н-ну, православные, на сей день кончаю канителиться с вами, — черти! Есть важное дело, да... Устаёшь с вами, пустяковый народ. Вы — поглядите, каков я, э?

Он похлопал ладонями по груди — грудь гулко гудела.

— Орёл, — негромко и со вздохом сказала Дроздова.

— И вот, государь император приказал мне служить ему, заботясь о вас, о ваших делах. А дела ваши — пустяковые. Ерунда и глупость — все эти ваши жалобы. Вот — баба! Пришла тоже за делом и — спит у колодца, будто всю жизнь не спала. Скушно с вами до смерти, ребята! Однако — по приказу его императорского величества — служу! Служу покорно и терпеливо. Вот и берите пример с меня... Верно говорю?

Сразу откликнулось несколько голосов — поспешно и уныло, нерешительно и с радостью:

— Верно... Милость ваша. Дай бог здоровья! Когда же наше-то дело? Защитник...

Земский надел фуражку, Гришка накинул пыльник на его широкие плечи, земский сел верхом на дрожки сзади Иконникова и покатился со двора, кивая головой на поклоны народа. Волокушин, Бунаков, Дроздова и ещё человека четыре подошли к Яковлеву. Прижав под мышкой бумаги, он стоял на крыльце и, склонив голову на плечо, смотрел на них сверху вниз красным глазом привычного пьяницы, – смотрел и шипел:

– Ну, что? Разболтались? Верблюды... Наказывал – меньше болтайте...

Он ушёл в канцелярию, люди молча, гуськом, двинулись за ним. На дворе осталось десятка два, они надевали котомки на плечи, собираясь в дорогу к далёким избам.

– Ну, и пристрастно обстрогает он их, – с восторгом сказал столяр.

– Да-а, пощиплет пёрышки.

– Экая должность завидная.

– Бабу-то разбудить бы, что ли...

– Вроде – мёртвая.

Плотник, свёртывая папиросу, сказал:

– А спорить не приходится: орел мужчина! Костина-то как заклеил, а?

Разбудили бабу; очумело оглядываясь, баба завыла:

– Господи, опять нет мне решения? Что же это? Когда же?

Слабеньким голоском заплакал ребёнок, и все стали уходить со двора торопливее, перекидываясь последними словами:

– В Мурзино-то к предводительше дворянства помчался.

– Известный прихвостень бабий...

Маленький мужичок с тараканьими усами, остриженной бородой и ежовым подбородком, срубая палочкой крапиву у колодца, взмахнул головой и громко, завистливо сказал:

– На законах-то – как на балалайке играет, орёл-то.

– Для того, преднамеренно, учились, – объяснил столяр и, выпустив длинную струю дыма, прибавил:

– Дополнительно сказать – философы, как хотят, так и вертят. До увидания, честной народ! Однако – не в этом бы месте!

Из огорода выбежала шершавая собака, понюхала свежий навоз – не понравился. Тряхнув башкой, она подбежала к срубу колодца, подняла ногу, затем, так же торопливо, нырнула в подворотню.

---

## **Примечания**

**1**

**Исправник** – начальник полиции в уезде – *Ред.*

## 2

Выражение царя Александра II: «Правда и милость да царствуют в судах» – прим. М. Г.

# 3

**Чесуча** или **чесунча** – грубоватая, матовая шёлковая, или в смеси с хлопком, ткань с неравномерной рельефной поверхностью желтовато – белого цвета из волокна дикого или дубового шелкопряда – *Ред.*